

Мигель де Сервантес Сааведра

**Хитроумный Идальго Дон
Кихот Ламанчский**

Часть II

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Мигель де Сервантес Сааведра

Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский: Часть II / Мигель де Сервантес Сааведра – М.: Книга по Требованию, 2011. – 434 с.

ISBN 978-5-458-03642-9

Роман классика испанской литературы Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — одно из самых гениальных произведений эпохи Возрождения — рассказывает о приключениях бедного дворянина Алонсо Кихано, который вообразил себя рыцарем Дон Кихотом и вместе с верным оруженосцем Санчо Пансой отправился в поход против зла и несправедливости на земле.

ISBN 978-5-458-03642-9

© Издание на русском языке, оформление, «YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2011

Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский. Часть вторая

ПОСВЯЩЕНИЕ ГРАФУ ЛЕМОССКОМУ ¹

Посылая на днях Вашему сиятельству мои комедии, вышедшие из печати до представления на сцене ², я, если не ошибаюсь, писал, что Дон Кихот надевает шпоры, дабы явиться к Вашему сиятельству и облобызать Вам руки. А теперь я уже могу сказать, что он их надел и отправился в путь, и если он доедет, то, мне думается, я окажу этим Вашему сиятельству некоторую услугу, ибо меня со всех сторон торопят как можно скорее его прислать, дабы прошли тошнота и оскормина, вызванные другим Дон Кихотом ³, который надел на себя личину второй части и пустился гулять по свету. Но кто особенно, по-видимому, ждет моего Дон Кихота, так это великий император китайский ⁴, ибо он месяц тому назад прислал мне с нарочным на китайском языке письмо, в котором просит, вернее сказать умоляет, прислать ему мою книгу: он-де намерен учредить коллегию ⁵ для изучения испанского языка и желает, чтобы оный язык изучался по истории Дон Кихота. Тут же он мне предлагает быть ректором помянутой коллегии. Я спросил посланца, не оказало ли мне его величество какой-либо денежной помощи. Тот ответил, что у его величества и в мыслях этого не было.

«В таком случае, братец, – объявил я, – вы можете возвращаться к себе в Китай со скоростью десяти, а то и двадцати миль в день, словом, с любой скоростью, мне же не позволяет здоровье в столь длительное пускаться путешествие, и мало того, что я болен, но еще и сижу без гроша; однако же что мне императоры и монархи, когда в Неаполе есть у меня великий граф Лемосский, который без всяких этих затей с коллегией и ректорством поддерживает меня, покровительствует мне и оказывает столько милостей, что большего и желать невозможно».

На этом я с посланцем простился, и на этом я прощаюсь и с Вашим сиятельством, давая обещание преподнести Вам *Странствия Персилеса и Сихизмунды*⁶, книгу, которую я *Deo volente* ⁷ спустя несколько месяцев закончу, каковая книга, должно полагать, будет *самой плохой* или же, наоборот, *самой лучшей* из всех на нашем языке писанных (я разумею книги, писанные для развлечения); впрочем, я напрасно сказал: *самой плохой*, ибо, по мнению моих друзей, книге моей суждено невозможного достигнуть совершенства. Возвращайтесь же, Ваше сиятельство, в желанном здравии, и к тому времени *Персилес* будет уже готов облобызать Вам руки, я же, слуга Вашего сиятельства, припаду к Вашим стопам. Писано в Мадриде, в последний день октября тысяча шестьсот пятнадцатого года.

Слуга Вашего сиятельства
Мигель де Сервантес Сааведра

ПРОЛОГ К ЧИТАТЕЛЮ

Господи боже мой! С каким, должно полагать, нетерпением ожидаешь ты, знатный, а может статься, и худородный, читатель этого пролога, думая, что найдешь в нем угрозы, хулу и порицания автору второго *Дон Кихота*, который, как слышно, зачат был в Тордесильесе, а родился в Таррагоне! ⁸ Но, право же, я тебе этого удовольствия не доставлю, ибо хотя обиды и пробуждают гнев в самых смиренных сердцах, однако ж мое сердце составляет исключение из этого правила. Тебе бы хотелось, чтобы я обозвал автора ослом, дураком и нахалом, но я этого и в мыслях не держу: он сам себя наказал, ну его совсем, мне до него и нужды нет. Единственно, что не могло не задеть меня за живое, это что он назвал меня стариком и безруким, как будто в моей власти удержать время, чтобы оно нарочно для меня остановилось, и как будто я получил увечье где-нибудь в таверне, а не во время величайшего из событий ⁹, какие когда-либо происходили в век минувший и в век нынешний и вряд ли произойдут в век грядущий. Если раны мои и не красят меня в глазах тех, кто их видел, то, во всяком случае, возвышают меня во мнениях тех, кто знает, где я их получил, ибо лучше солдату пасть мертвым в бою, нежели спастись бегством, и я так в этом убежден, что, если бы мне теперь предложили воротить прошедшее, я все равно предпочел бы участвовать в славном этом походе, нежели остаться невредимым, но зато и не быть его участником. Шрамы на лице и на груди солдата – это звезды, указывающие всем остальным, как вознестись на небо почета и похвал заслуженных; также объявляю во всеобщее сведение, что сочиняют не седины, а разум, который обыкновенно с годами мужает. Еще мне было неприятно, что автор называет меня завистником и, словно неучу, объясняет мне, что такое зависть; однако ж, положа руку на сердце, могу сказать, что из двух существующих видов зависти мне знакома лишь зависть святая, благородная и ко благу устремленная, а значит, и не могу я преследовать духовную особу ¹⁰, да еще такую, которая состоит при священном трибунале; и если автор в самом деле говорит о лице, которое имею в виду я, то он жестоко ошибается, ибо я преклоняюсь перед дарованием этого человека и восхищаюсь его творениями, равно как и той добродетельной жизнью, какую он ведет неукоснительно. Впрочем, я признателен господину автору за его суждение о моих новеллах: хотя они, мол, не столь назидательны, сколь сатиричны, однако же хороши, а ведь их нельзя было бы назвать хорошими, когда бы им чего-нибудь недоставало.

Пожалуй, ты скажешь, читатель, что я чересчур мягок и уж очень крепко держу себя в границах присущей мне скромности, но я знаю, что не должно огорчать и без того уже огорченного, огорчения же этого господина, без сомнения, велики, коли он не осмеливается появиться в открытом поле и при дневном свете, а скрывает свое имя и придумывает себе родину, как будто бы он был повинен в оскорблении величества. Если случайно, читатель, ты с ним знаком, то передай ему от моего имени, что я не почитаю себя оскорбленным: я хорошо знаю, что такое дьявольские искушения и что одно из самых больших искушений – это навести человека на мысль, что он способен сочинить и выдать в свет книгу, которая принесет ему столько же славы, сколько и денег, и столько же денег, сколько и славы; и мне бы хотелось, чтобы в доказательство ты, как

только можешь весело и забавно, рассказал ему такую историйку.

Был в Севилье сумасшедший, который помешался на самой забавной чепухе и на самой навязчивой мысли, на какой только может помешаться человек, а именно: смастерив из остроконечной тростинки трубку, он ловил на улице или же где-нибудь еще собаку, наступал ей на одну заднюю лапу, другую лапу приподнимал сверху, а засим с крайним тщанием вставлял ей трубку в некоторую часть тела и дул до тех пор, пока собака не становилась круглой, как мяч; доводя же ее до такого состояния, он дважды хлопал ее по животу и, отпустив, обращался к зевакам, коих всегда при этом собиралось немало: «Что вы скажете, ваши милости: легкое это дело – надуть собаку?» – Что вы скажете, ваша милость: легкое это дело – написать книгу?

Если же, друг читатель, сия историйка не придется автору по сердцу, то расскажи ему другую, тоже про сумасшедшего и про собаку.

Был в Кордове другой сумасшедший, который имел обыкновение носить на голове обломок мраморной плиты или же просто не весьма легкий камень; высмотрев зазевавшуюся собаку, он к ней подкрадывался, а затем что было силы сбрасывал на нее свой груз, после чего разобиженная собака с воем и визгом убегала за три улицы. Но вот как-то раз случилось ему сбросить камень на собаку шапочника, который очень ее любил. Камень угодил ей в голову, ушибленная собака завывала, хозяин, увидев и услышав это, схватил аршин, бросился на сумасшедшего и не оставил на нем живого места; и при каждом ударе он еще приговаривал: «Вор-собака! Это ты так мою гончую? Не видишь, подлец, что моя собака – гончая?» И, раз двадцать повторив слово гончая и сделав из сумасшедшего котлету, он наконец отпустил его. Получив хороший урок, сумасшедший скрылся и больше месяца на людных местах не показывался, но потом, однако ж, возвратился все с тою же выдумкою и с еще более тяжелым грузом. Он подходил к собаке, нацеливался, но, так и не решившись и не осмелившись сбросить на нее камень, говорил: «Это гончая, воздержимся!» И про всякую собаку, какая бы ему ни попадалась, будь то дог или же шавка, он говорил, что это гончая, и не сбрасывал на нее камня. Нечто вроде этого, должно полагать, случится и с нашим сочинителем, и он не отважится более сбрасывать на бумагу твердые, как камень, плоды своего гения, ибо кому охота стараться разгрызть плохую книгу!

Скажи ему еще, что его угроза лишить меня дохода изданием книги своей не стоит медного гроша, и, применяя к себе славную интермедию *Перенденга*, я могу ему ответить, что, мол, бог не без милости, и да здравствует, мне на радость, сеньор мой Двадцать Четыре ¹¹. Да здравствует граф Лемосский, коего христианские чувства и хорошо известная щедрость ограждают меня от всех ударов злой судьбы, и да здравствует, на радость мне, добросердечнейший дон Бернардо де Сандоваль-и-Рохас, архиепископ Толедский, а там пусть хоть не останется на свете ни одной печатни, и пусть против меня печатают больше книг, нежели в строфах Минго Ревульго ¹² содержится букв. Эти двое владык без малейшего с моей стороны искательства или же раболепства, единственно по доброте своей, взялись мне покровительствовать и оказывать милости, и поэтому я почитаю себя счастливее и богаче, чем если бы Фортуна вознесла меня путем обычным. Честь может быть и у бедняка, но только не у человека порочного: нищета может омрачить благородство, но не затемнить его совершенно, а как добродетель излучает свой свет даже сквозь щели горькой бедности, то ей удастся заслужить

уважение умов возвышенных и благородных, а с тем вместе и их благорасположение. И больше, читатель, не говори автору ничего, а я ничего больше не скажу тебе, – прими только в соображение, что предлагаемая вторая часть *Дон Кихота* скроена тем же самым мастером и из того же сукна, что и первая, и в ней я доведу Дон Кихота до конца, до самой его кончины и погребения, дабы никто уже более не заводил о нем речи, ибо довольно и того, что уже сказано, довольно и того, что свидетельствует о разумных его безумствах человек честный, и нечего сызнова к ним возвращаться: ведь когда чего-нибудь слишком много, хотя бы даже хорошего, то оно теряет цену, а когда чего-нибудь недостает, хотя бы даже плохого, то оно как-то все-таки ценится. Забыл тебе сказать, чтобы ты ожидал *Персилеса*, которого я теперь оканчиваю, а также вторую часть *Галатеи*.

ГЛАВА I

О разговоре, который священник и цирюльник вели с Дон Кихотом касательно его болезни

Во второй части этой истории, повествующей о третьем выезде Дон Кихота, Сид Ахмет Бен-инхали рассказывает, что священник и цирюльник почти целый месяц у него не бывали, чтобы не вызывать и не воскрешать в его памяти минувших событий; однако ж они заходили к племяннице и ключнице и просили заботиться о нем и давать ему что-нибудь питательное и полезное для сердца и мозга, где, вне всякого сомнения, и коренится, дескать, все его злополучие. Женщины объявили, что они так и делают и будут делать с крайним тщанием и готовностью: они, мол, уже замечают, что временами их господин обнаруживает все признаки здравомыслия, чему те двое весьма обрадовались, а также тому, как ловко они придумали – привезти его, заколдованного, на волах, о каковой их затее повествуется в последней главе первой части этой столь же великой, сколь и достоверной истории; и по сему обстоятельству положили они навестить его и убедиться вочую, подлинно ли ему лучше, что казалось им, впрочем, почти невероятным, и уговорились между собою не дотрагиваться до этой его еще свежей и столь странной раны, а о странствующем рыцарстве даже не заикаться.

Итак, они пришли к нему и застали его сидящим на постели в зеленом байковом камзоле и в красном толедском колпаке; и был он до того худ и изможден, что походил на мумию. Он принял их с отменным радушием; они осведомились о его здоровье, и он рассказал им о себе и о своем здоровье весьма разумно и в самых изысканных выражениях; наконец речь зашла о так называемых государственных делах и образах правления, причем иные злоупотребления наши собеседники искореняли, иные – осуждали, одни обычаи исправляли, другие – упраздняли, и каждый чувствовал себя в это время новоявленным законодателем: вторым Ликургом¹³ или же новоиспеченным Солоном¹⁴; и так они все государство переиначили, что казалось, будто они его бросили в горн, а когда вынули, то оно было уже совсем другое; Дон Кихот же обо всех этих предметах рассуждал в высшей степени умно, и у обоих испытателей не осталось сомнений, что он совершенно здоров и в полном разуме.

При этой беседе присутствовали племянница и ключница и неустанно благодарили бога за то, что их господин вполне образумился; однако ж священник, изменив первоначальному своему решению не касаться рыцарства, пожелал окончательно удостовериться, точно ли Дон Кихот выздоровел, или же это выздоровление мнимое, и для того исподволь перешел к столичным новостям и, между прочим, передал за верное, что султан турецкий с огромным флотом вышел в море¹⁵, но каковы его замыслы и где именно ужасная сия гроза разразится – этого-де никто не знает; и что-де, мол, снова, как почти каждый год, весь христианский мир пребывает в страхе и бьет тревогу, а его величество повелел укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты. Дон Кихот же на это сказал:

– Укрепив заблаговременно свои владения, дабы неприятель не застигнул его врасплох, его величество поступил как предусмотрительнейший воин. Однако ж, обратись его величество за советом ко мне, я бы ему посоветовал принять такие меры предосторожности, о которых он ныне, верно, и не подозревает.

Выслушав его, священник сказал себе: «Да хранит тебя господь, бедный Дон Кихот! Сдается мне, что ты низвергаешься с высот безумия в пучину простодушия!» Но тут цирюльник, подумавший то же самое, что и священник, спросил Дон Кихота, какие именно меры предосторожности он почитает за нужное принять: может статься, они-де относятся к разряду тех многочисленных нелепых предложений, какие обыкновенно делаются государям.

– Мое предложение, господин брадобрей, вовсе не нелепо, а очень даже лепо, – сказал Дон Кихот.

– Да я ничего и не говорю, – отозвался цирюльник, – но только ведь опыт показывает, что все или же большая часть проектов, которые поступают к его величеству, неосуществимы, бессмысленны или же вредны и для короля и для королевства.

– Ну, а мой проект не неосуществим и не бессмыслен, – возразил Дон Кихот, – напротив того: никакому изобретателю не изобрести столь удобоисполнимого, целесообразного, остроумного и краткого проекта.

– Так поделитесь же им, сеньор Дон Кихот, – молвил священник.

– Мне бы не хотелось излагать его сейчас, – признался Дон Кихот, – иначе он завтра же достигнет ушей господ советников, и благодарность и награду за труд получу не я, а кто-нибудь другой.

– Что до меня, – сказал цирюльник, – то вот вам крест, ваша милость, я никому не скажу: ни королю, ни ладье¹⁶ и ни одному живому человеку, – эту клятву я взял из романа об одном священнике, который в начале мессы указал королю на вора, укравшего у того священника сто дублонов и быстрого мула.

– Историй этих я не знаю, – сказал Дон Кихот, – однако ж полагаю, что клятва верная, ибо сеньор цирюльник – человек честный.

– Даже если б он и не был таковым, – вмешался священник, – я за него ручаюсь и даю гарантию, что в сем случае он будет нем, как могила, иначе с него будут взысканы пеня и неустойка.

– А за вашу милость, сеньор священник, кто поручится? – осведомился Дон Кихот.

– Мой сан, обязывающий меня хранить тайны, – отвечал священник.

– Ах ты, господи! – вскричал тут Дон Кихот. – Да что стоит его величеству приказать через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, какие только скитаются по Испании, в назначенный день собрались в столице? Хотя бы даже их явилось не более полдюжины, среди них может оказаться такой, который один сокрушит всю султанову мощь. Слушайте меня со вниманием, ваши милости, и следите за моею мыслью. Неужели это для вас новость, что один-единственный странствующий рыцарь способен перерезать войско в двести тысяч человек, как если бы у всех у них было одно горло, или же если б они были сделаны из марципана? Нет, правда, скажите: не на каждой ли странице любого романа встречаются подобные чудеса? Даю голову на отсечение свою собственную, а не чью-нибудь чужую, что живи ныне славный дон Бельянис или же кто-либо из многочисленного потомства Амадиса Галльского, словом, если б кто-нибудь из них дожил до наших дней и переведался с султаном, – скажу по чести, не хотел бы я быть в шкуре султановой! Впрочем, господь не оставит свой народ и пошлет ему кого-нибудь, если и не столь грозного, как прежние странствующие рыцари, то уж, во всяком случае, не уступающего им в твердости духа. Засим господь меня

разумеет, а я умолкаю.

– Ах! – воскликнула тут племянница. – Убейте меня, если мой дядюшка не задумал снова сделаться странствующим рыцарем!

Дон Кихот же ей на это сказал:

– Странствующим рыцарем я и умру, а султан турецкий волен, когда ему вздумается, выходить и приходить с каким угодно огромным флотом, – повторяю: господь меня разумеет.

Тут вмешался цирюльник:

– Будьте добры, ваши милости, дозвоьте мне рассказать одну небольшую историйку, которая произошла в Севилье: она будет сейчас как раз к месту, и потому мне не терпится ее рассказать.

Дон Кихот изъявил согласие, священник и все остальные приготовились слушать, и цирюльник начал так:

– В севильском сумасшедшем доме находился один человек, которого посадили туда родственники, ибо он лишился рассудка. Он получил ученую степень по каноническому праву в Осуне¹⁷, но, получи он ее даже в Саламанке, это ему все равно бы не помогло, как уверяли многие. Проведя несколько лет в затворе, означенный ученый вообразил, что он опаматовался и находится в совершенном уме, и в сих мыслях написал архиепископу письмо, в каковом письме, вполне здраво рассуждая, убедительно просил помочь ему выйти из того бедственного положения, в коем он пребывает, ибо по милости божией он, дескать, уже пришел в себя; однако родственники, чтобы воспользоваться его долей наследства, держат его, мол, здесь и, вопреки истине, желают, чтобы он до конца дней своих оставался умалишенным. Архиепископ, убежденный многочисленными его посланиями, свидетельствовавшими о рассудительности его и благоразумии, в конце концов послал капеллана узнать у смотрителя дома умалишенных, правда ли то, что пишет лиценциат, а также поговорить с самим сумасшедшим, и если, мол, он увидит, что тот пришел в разум, то пусть-де вызовет его оттуда и выпустит на свободу. Капеллан так и сделал, и смотритель ему сказал, что больной по-прежнему не в себе и что хотя он часто рассуждает, как человек большого ума, однако ж потом начинает говорить несуразности, и они у него столь же часты и столь же необычайны, как и его разумные мысли, в чем можно-де удостовериться на опыте, стоит только с ним побеседовать. Капеллан пожелал произвести этот опыт и, запершись с сумасшедшим, проговорил с ним более часа, и за все это время помешанный не сказал ничего несообразного или же нелепого, напротив того, он такую выказал рассудительность, что капеллан принужден был поверить, что больной поправился; между прочим, сумасшедший объявил, что смотритель на него клеветает, ибо не желает лишаться взяток, которые ему дают родственники больного: якобы за взятки смотритель, мол, и продолжает уверять, что больной все еще не в своем уме, хотя по временам, дескать, и наступает просветление; главная же его, больного, беда – это, мол, его богатство, ибо недруги его, чтобы таковым воспользоваться, пускаются на всяческие подвохи и выражают сомнение в той милости, какую явил ему господь, снова превратив его из животного в существо разумное. Коротко говоря, смотрителя он выставил человеком, доверия не внушающим, родственников – своекорыстными и бессовестными, а себя самого столь благоразумным, что капеллан в конце концов решился взять его с собой, чтобы архиепископ мог во всем убедиться воочию. Поверив лицен-

циату на слово, добрый капеллан попросил зрителя выдать ему платье, в котором он сюда прибыл; зритель еще раз посоветовал капеллану хорошенько подумать, ибо лицензиат, вне всякого сомнения, все еще, дескать, поврежден в уме. Однако же, несмотря на все предостережения и увещания зрителя, капеллан остался непреклонен в своем желании увести лицензиата с собой; зритель повиновался, тем более что распоряжение исходило от архиепископа¹⁸; на лицензиата надели его собственное платье, новое и приличное, и когда лицензиат увидел, что он одет, как человек здоровый, а больничный халат с него сняли, то попросил капеллана в виде особого одолжения позволить ему попроситься со своими товарищами сумасшедшими. Капеллан сказал, что ему тоже хочется пойти посмотреть на сумасшедших. Словом, они отправились, а вместе с ними и еще кое-кто; и как скоро лицензиат приблизился к клетке, где сидел буйный помешанный, который, впрочем, был тогда тих и спокоен, то обратился к нему с такими словами:

«Скажите, приятель: не нужно ли вам чего-либо? Ведь я ухожу домой, – господу богу по бесконечному его милосердию и человеколюбию угодно было возвратить мне, недостоинному, разум; теперь я снова в здравом уме и твердой памяти, ибо для всемогущества божия нет ничего невозможного. Надейтесь крепко и уповайте на господя: коли он меня вернул в прежнее состояние, то вернет и вас, – только положитесь на него. Я постараюсь послать вам чего-нибудь вкусного, а вы смотрите непременно скушайте: смею вас уверить, как человек, испытавший это на себе, что все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове. Мужайтесь же, мужайтесь: кто падает духом в несчастье, тот вредит своему здоровью и ускоряет свой конец».

Все эти речи лицензиата слышал другой сумасшедший, сидевший в другой клетке, напротив буйного; поднявшись с ветхой циновки, на которой он лежал нагишом, этот второй сумасшедший громко спросил, кто это возвращается домой в здравом уме и твердой памяти. Лицензиат ему ответил так:

«Это я ухожу, приятель, мне больше незачем здесь оставаться, за что я и воссылаю бесконечные благодарения небу, оказавшему мне столь великую милость».

«Полноте, лицензиат, что вы говорите! Как бы над вами лукавый не подшутил, – сказал сумасшедший, – торопиться вам некуда, сидите-ка себе смиренхонько на месте, все равно ведь потом придется возвращаться назад».

«Я уверен, что я здоров, – настаивал лицензиат, – мне незачем возвращаться сюда и сызнова претерпевать все мытарства».

«Это вы-то здоровы? – сказал сумасшедший. – Ну что ж, поживем – увидим, ступайте себе с богом, но клянусь вам Юпитером, коего величие олицетворяет на земле моя особа, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из этого дома и признавая вас за здорового, я ее так покараю, что память о том пребудет во веки веков, аминь. Или ты не знаешь, жалкий лицензиатишка, что это в моей власти, ибо, как я уже сказал, я – Юпитер-громовержец, который держит в руках всеопалюющие молнии, коими я могу и имею обыкновение грозить миру и разрушать его? Но сей невежественный град я накажу иначе: клянусь три года подряд, считая с того дня и часа, когда я произношу эту угрозу, не дождит не только самый город, но и округу его и окрестность. Как, ты на свободе, ты в здравом уме, ты в твердой памяти, а я сумасшедший, я

невменяемый, я под замком?.. Да я скорей удавлюсь, нежели пошло дождь!»

Присутствовавшие все еще слушали выкрики и речи помешанного, как вдруг лицензиат, обратившись к капеллану и схватив его за руки, молвил:

«Не огорчайтесь, государь мой, и не придавайте значения словам этого сумасшедшего, ибо если он – Юпитер и он не станет кропить вас дождем, то я – Нептун, отец и бог вод, и я буду кропить вас сколько потребуется и когда мне вздумается».

Капеллан же ему на это сказал:

«Со всем тем, господин Нептун, не должно гневить господина Юпитера: оставайтесь-ка вы здесь, а уж мы как-нибудь в другой раз, когда нам будет сподручнее и посвободнее, придем за вашей милостью».

Смотритель и все присутствовавшие фыркнули, но капеллан на них рассердился; лицензиата раздели, и остался он в доме умалишенных, и на этом история оканчивается.

– Это и есть та самая история, сеньор цирюльник, которая так будто бы подходила к случаю, что вы не могли ее не рассказать? – спросил Дон Кихот. – Ах, сеньор брадобрей, сеньор брадобрей, до чего же люди иной раз бывают неловки! Неужели ваша милость не знает, что сравнение одного ума с другим, одной доблести с другою, одной красоты с другою и одного знатного рода с другим всегда неприятно и вызывает неудовольствие? Я, сеньор цирюльник, не Нептун и не бог вод и, не будучи умен, за умника себя и не выдаю. Единственно, чего я добиваюсь, это объяснить людям, в какую ошибку впадают они, не возрождая блаженнейших тех времен, когда ратоборствовало странствующее рыцарство. Однако же наш развращенный век недостойн наслаждаться тем великим счастьем, каким наслаждались в те века, когда странствующие рыцари вменяли себе в обязанность и брали на себя оборону королевства, охрану девственниц, помощь сирым и малолетним, наказание гордецов и награждение смиренных. Большинство же рыцарей, подвизавшихся ныне, предпочитают шуршать шелками, парчю и прочими дорогими тканями, нежели звенеть кольчугою. Теперь уж нет таких рыцарей, которые согласились бы в любую погоду, вооруженные с головы до ног, ночевать под открытым небом, и никто уже по примеру странствующих рыцарей не клюет, как говорится, носом, опершись на копье и не слезая с коня. Найдите мне хотя одного такого рыцаря, который, выйдя из лесу, взобравшись потом на гору, а затем спустившись на пустынный и нелюдимый берег моря, вечно бурного и беспокойного, и видя, что к берегу прибило утлый челн без весел, ветрила, мачты и снастей, бесстрашно ринулся бы туда и отдался на волю неумолимых зыбей бездонного моря, а волны то вознесут его к небу, то низвергнут в пучину, рыцарь же грудь свою подставляет неукротимой буре; и не успевает он оглянуться, как уже оказывается более чем за три тысячи миль от того места, откуда отчалил, и вот он ступает на неведомую и чужедальную землю, и тут с ним происходят случаи, достойные быть начертанными не только на пергаменте, но и на меди. Между тем в наше время леность торжествует над рвением, праздность над трудолюбием, порок над добродетелью, наглость над храбростью и мудрствования над военным искусством, которое безраздельно царило и процветало в золотом веке и в век странствующих рыцарей. Нет, правда, скажите: кто целомудреннее и отважнее славного Амадиса Галльского? Кто благоразумнее Пальмерина Английского? Кто сговорчивее и уживчивее